

Кругом Васильевского острова далеким морем лежал мир: там была война, потом революция. А в котельной у Трофима Иваныча котел гудел все так же, манометр показывал все те же девять атмосфер. Только уголь пошел другой: был кардиф, теперь – донецкий. Этот крошился, черная пыль залезала всюду, ее было не отмыть ничем. Вот будто эта же черная пыль неприметно обволокла все и дома. Так, снаружи, ничего не изменилось. По-прежнему жили вдвоем, без детей. Софья, хоть ей было уж под сорок, была все так же легка, строга всем телом, как птица, ее будто для всех навсегда сжатые губы по-прежнему раскрывались Трофиму Иванычу ночью – и все-таки было не то. Что «не то» – было еще неясно, еще не отвердело в словах. Словами это в первый раз сказалось только позже, осенью, и Софья запомнила: это было ночью в субботу, был ветер, вода в Неве подымалась.

Днем на котле у Трофима Иваныча лопнула трубка водомерная, нужно было пойти и взять запасную на складе при механической. В мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, позванивало, жужжало, пело – будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень, ремни трансмиссии хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.

К вечеру вернулся домой – и все еще было нехорошо. Пообедал, лег отдохнуть. Когда встал, все уж прошло, позабылось – и только вроде видел какой-то сон или потерял ключ, а какой сон, от чего ключ – никак не вспомнить. Вспомнил только ночью.

Всю ночь со взморья ветер бил прямо в окно, стекла звенели, вода в Неве подымалась. И будто связанная с Невой подземными жилами – подымалась кровь. Софья не спала. Трофим Иваныч в темноте нашел рукою ее колени, долго был вместе с нею. И опять было не то, была какая-то яма.

Он лежал, стекло от ветра позвякивало однообразно. Вдруг вспомнилось: шайба, мастерская, хлопающий вхолостую ремень... «Оно самое», – вслух сказал Трофим Иваныч. «Что?» – спросила Софья. «Детей ты не рожаешь, вот что». И Софья тоже поняла: да, оно самое. И поняла: если не будет ребенка, Трофим Иваныч уйдет из нее, незаметно вытечет из нее весь по каплям, как вода из разохшейся бочки. Эта бочка стояла у них в сенях за дверью. Трофим Иваныч уже давно собирался перебить на ней обрuchi, и все было некогда.

Ночью – должно быть, уже под утро – дверь раскрылась, с размаху грохнула в бочку, и Софья выбежала на улицу. Она знала, что конец, что назад уже нельзя. Громко, плача навзрыд, она побежала к Смоленскому полю, там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткнулась, упала – руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела, что руки у нее в крови.

«Ты чего кричишь?» – спросил ее Трофим Иваныч. Софья проснулась. Кровь ее была и в самом деле, но это была ее обыкновенная женская кровь.

Раньше это были просто дни, когда ходить было неудобно, ногам холодно, неприятно. Теперь как будто ее каждый месяц судили, и она ждала приговора. Когда приближался срок, она не спала, она боялась – и хотела, чтобы поскорее: а вдруг на этот раз не будет – вдруг окажется, что она... Но ничего не оказывалось, внутри была яма, пусто. Несколько раз она заметила: когда она, стыдясь, шепотом ночью окликала Трофима Иваныча, чтобы он повернулся к ней, – он притворялся, что спит. И тогда Софье опять снилось, что она одна, в темноте, бежит к Смоленскому полю, она кричала вслух, а утром губы у нее были сжаты еще плотнее.

Днем солнце, не переставая, птичьими кругами носилось над землей. Земля лежала голая. В сумерках все Смоленское поле дымилось паром, как разгоряченная лошадь. Стены в один какой-то апрельский день стали очень тонкими – было отчетливо слышно, как ребята во дворе кричали: «Лови ее! Лови!» Софья знала, что «ее» – это значит столярову девочку Ганьку; столяр жил над ними, он лежал больной, должно быть, в тифу.

Софья спустилась вниз, во двор. Прямо на нее, закинув голову, неслась Ганька, за нею четверо соседских мальчишек. Когда Ганька увидела Софью, она на бегу что-то сказала назад, мальчишкам, и одна степенно подошла к Софье. От Ганьки несло жаром, она часто дышала, было видно, как шевелилась верхняя губа с маленькой черной родинкой. «Сколько ей? Двенадцать, тринадцать...» – подумала Софья. Это было как раз столько, сколько Софья была замужем, Ганька могла бы быть ее дочерью. Но она была чужая, она была украдена у нее, у Софьи...

Внезапно в животе что-то сжалось, поднялось вверх, к сердцу, Софье стало ненавистно то, чем пахла Ганька, и эта ее чуть шевелящаяся губа с черной родинкой. «К папке докторша приехала, он в бессознании», – сказала Ганька. Софья увидела, как губы у Ганьки задрожали, она нагнулась и, должно быть, глотала слезы. И тотчас же Софье сделалось больно от стыда и жалости. Она взяла Ганькину голову и прижала к себе. Ганька всхлипнула, вырвалась и побежала в темный угол двора, за нею шмыгнули туда мальчишки.

С засевшей где-то, как конец сломанной иглы, болью – Софья вошла к столяру. Направо от двери, у рамонойника докторша мыла руки. Она была грудастая, курносая, в пенсне. «Ну, как он?» – спросила Софья. «До завтра дотянет, – весело сказала докторша. – А там работы нам с вами прибавится». – «Работы... какой?» – «Какой? Одним человеком будет меньше, нам лишних детей рожать. У вас – сколько?» Пуговица на груди у докторши была расстегнута, она попробовала застегнуть, не сходилось – она засмеялась. «У меня... нету», – не скоро сказала Софья, ей было трудно разжать губы.

Столяр на другой день умер. Он был вдовый, у него никого не было. Пришли какие-то соседки, стояли у дверей и шептались, потом одна, укрытая темным платком, сказала: «Ну что ж, милые, так стоять-то?» – и стала снимать платок, держа булавку в зубах. Ганька сидела на своей кровати молча, согнувшись, ноги тонкие, жалкие, босые. На коленях у нее лежал нетронутый кусок черного хлеба.

Софья спустилась к себе вниз, нужно было сделать что-нибудь к обеду – скоро придет Трофим Иваныч. Когда она все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное и его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью:

должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.

Пришел Трофим Иванов. Он стоял возле стола широкий, коротконогий – будто по щиколотку вросши ногами в землю. «Столяр-то ведь умер», – сказала Софья. «А-а, умер?» – рассеянно, мимо спросил Трофим Иванов; он вынимал из мешка хлеб, хлеб был непривычнее и редкостнее, чем смерть. Нагнувшись, он начал резать осторожные ломти, и тут Софья, будто в первый раз за все эти годы, увидела его обгорелое, разоренное лицо, его цыганскую голову, густо, как солью, присыпанную сединами. «Нет, не будет, не будет детей!» – на лету, отчаянно крикнуло Софьино сердце. А когда Трофим Иванов взял в руки кусок хлеба, Софья мгновенно очутилась наверху: там Ганька, одна, сидела на кровати, у нее лежал хлеб на коленях, в окно смотрела острая, как кончик иглы, весенняя звезда. И седина, Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе – все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иванов, возьмем к себе столярову Ганьку, пусть будет нам вместо...» Дальше не могла.

Трофим Иванов поглядел на нее удивленно, потом сквозь угольную пыль слова прошли в него, внутрь, он начал улыбаться, – медленно, так же медленно, как развязывал мешок с хлебом. Когда развязал улыбку до конца, зубы у него заблестели, лицо стало новое, он сказал: «Молодец ты, Софья! Веди ее сюда, хлеба на троих хватит».

В эту ночь Ганька ночевала уже у них на кухне. Софья, лежа, слушала, как она возилась там на лавке, как потом стала дышать ровно. Софья подумала: «Теперь все будет хорошо» – и заснула.

2

Ребята во дворе играли уже совсем по-новому: «в колчака». Один – «колчак» – прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным боем, с пением расстреливали из палок. Настоящий Колчак был тоже расстрелян, конину теперь уже никто не ел, в лавках продавали сахар, калоши, муку. Котел на заводе топили еще все тем же донецким углем, но Трофим Иванов теперь брил бороду, угольная пыль легко отмывалась. Без бороды он ходил много лет назад перед свадьбой и сейчас будто вернулся к тем годам, иногда даже смеялся по-прежнему, зубы белели, как клавиши на гармонии.

Это бывало по воскресеньям, когда он сидел дома и дома была Ганька. Она теперь кончала школу. Трофим Иванов заставлял ее читать вслух газету. Ганька читала быстро и бойко, но перевирала по-своему все новые слова: «мольбизация», «главнука». «Как, как?» – переспрашивал Трофим Иванов, закипая смехом. «Главнука», – спокойно повторяла Ганька. Потом рассказывала, что к ним вчера пришел в школу какой-то новый и стал объяснять, что вот на земле тела – и на небе тоже тела. «Какие тела?» – уже еле сдерживаясь, говорил Трофим Иванов. «Ну, какие? Вот!» – Ганька тыкала себя пальцем в грудь, остревшую под платьем. Больше Трофим Иванов уже не мог, смех вырывался у него из носа, изо рта, как пар из предохранительных клапанов распираемого давлением котла.

Софья сидела одна, в сторонке. Главнука, небесные тела, Ганька с газетой – все это было

ей одинаково непонятное и далекое. Ганька говорила, смеялась только с Трофимом Иванычем, а если оставалась вдвоем с Софьей, она молчала, топила печку, мыла посуду, разговаривала с кошкой. Только иногда медленно, пристально наплывала на Софью зелеными глазами, явно думая что-то о ней, но что? Так, уставясь в лицо, смотрят кошки, думают о чем-то своем – и вдруг становится жутковато от их зеленых глаз, от их непонятной, чужой, кошачьей мысли. Софья набрасывала шугайку, теплый платок и шла куда-нибудь – в лавку, в церковь, просто в темноту Малого проспекта – только бы не оставаться вдвоем с Ганькой. Она шла мимо еще не замерзших черных канав, мимо заборов из кровельного железа, ей было зимне, пусто. На Малом против церкви стоял такой же пустой, с выеденными окнами дом. Софья знала: в нем уже никогда больше не будут жить, никогда не будет слышно веселых детских голосов.

Она подошла к этому дому как-то вечером в декабре. Как всегда, она торопилась пройти скорее, не глядя. На лету, углом одного глаза, как видят птицы, она увидела в пустом окне свет. Она остановилась: не может быть! Вернулась назад, заглянула в дыру окна. Внутри, среди обломков кирпича, горел костер, вокруг него сидело четверо отрепышей-мальчишек. Один, лицом к Софье, черноглазый, должно быть цыганенок, приплясывал, на голой груди у него прыгал серебряный крестик, зубы блестели.

Пустой дом стал живым. Цыганенок чем-то походил на Трофима Иваныча. Софья вдруг почувствовала, что она тоже еще живая и еще все может перемениться.

Взволнованная, она вошла в церковь напротив. Она не была здесь с девятьсот восемнадцатого, когда Трофим Иваныч вместе с другими заводскими уходил на фронт. Служил все тот же маленький, обомшелый, седой попик. От пения становилось тепло, лед таял, какая-то зима проходила, впереди в темноте зажигали свечи.

Когда Софья вернулась домой, захотелось обо всем рассказать Трофиму Иванычу, но о чем же это – обо всем? Она сейчас уже и сама не знала и сказала только одно: что была в церкви. Трофим Иваныч засмеялся: «В старую церковь ходишь. Хоть бы к живоцерковцам ходила, у этих бог – все-таки вроде с партийным билетом». Он подмигнул Ганьке. С прищуренным глазом, без бороды – лицо у него было озорное, как у цыганенка, очень много зубов, веселых, жадных. Ганька сидела румяная, она прятала глаза и только исподлобья, зеленовато, чуть покосилась на Софью.

С этого дня Софья часто бывала в церкви, пока однажды к обедне не явился новый живоцерковный поп с толпою своих. Живоцерковец был рыжий верзила, в куцей рясе, будто переодетый солдат. Старый седой попик закричал: «Не дам, не дам!» – и вцепился в него, оба покатались на паперть, над толпою, как знамена, замелькали чьи-то кулаки. Софья ушла и больше не возвращалась сюда. Она стала ездить на Охту, там сапожник Федор – с желтой лысиной – проповедовал «третий завет».

Весна в этот год была поздняя, на Духов день деревья еще только начинали распускаться, почки на них дрожали незаметной для глаза дрожью и лопались. Вечером было непрочно, светло, метались ласточки. Сапожник Федор проповедовал о скором Страшном суде. По желтой лысине у него катились крупные капли пота, синие безумные глаза блестели так, что от них нельзя было оторваться. «Не с неба, нет! А отсюда, вот отсюда, вот отсюда!» – весь

дрожа, сапожник ударил себя в грудь, рванул на ней белую рубаху, показалось желтое, смятое тело. Он вцепился – разодрать грудь, как рубаху, – ему нечем было дышать, крикнул отчаянным, последним голосом и хлопнулся об пол в падучей. Около него остались две женщины, все быстро разошлись, не кончив собрания.

От безумных сапожниковых глаз вся напряженная, как почки на деревьях, Софья вернулась к себе. Ключа снаружи не было, дверь была заперта. Софья поняла: Трофим Иваныч с Ганькой ушли куда-нибудь погулять и, наверно, придут домой только часов в одиннадцать – она сама сказала им, чтобы раньше одиннадцати ее не ждали. Пойти разве наверх и посидеть там, пока они не вернуться?

Наверху жила теперь Пелагея с мужем, извозчиком. Через открытое окно было слышно, как она говорила своему ребенку: «Агу-агу-агунюшки... Вот так, вот так!» Нельзя, не было сил сейчас пойти туда и смотреть на нее, на ребенка. Софья села на деревянные ступени. Солнце было еще высоко, небо блестело, как глаза у сапожника. Откуда-то запахло горячим черным хлебом. Софья вспомнила: в окне на кухне шпингалет сломан, и, наверно, Ганька забыла привязать окно – всегда забывала. Значит, можно открыть снаружи и влезть.

Софья обошла кругом. И правда, окно не было привязано. Софья легко открыла его и влезла в кухню. Она подумала: так мало ли кто может забраться – а может, уж и забрался? Показалось, в соседней комнате какой-то шорох. Софья остановилась. Было тихо, только тикали часы на стенке, и внутри в Софье, и всюду. Сама не зная зачем, на цыпочках, Софья пошла. Платьем она зацепила прислоненную к стене гладильную доску, доска загремела на пол. Тотчас же в комнате зашлепали босые ноги. Софья тихонько ахнула, попятилась к окну – выскочить – звать на помощь...

Но она ничего не успела: в дверях показалась Ганька, босая, в одной измятой розовой сорочке. Ганька остолбенела, кругло раскрыла на Софью рот, глаза. Потом вся сжалась, как кошка, когда на нее замахнутся, крикнула: «Трофим Иваныч!» – и метнулась назад, в комнату.

Софья подняла доску, поставила ее на место и села. У нее ничего не было, ни рук, ни ног – только одно сердце, и оно, кувыряясь птицей, падало, падало, падало.

Почти тотчас же вошел Трофим Иваныч. Он был одетый, видно – не раздевался. Он стал посередине кухни, большеголовый, широкий, ноги короткие – будто был вкопан по колени в землю. «Ты... ты как же это рано вернулась нынче?» – сказал Трофим Иваныч и сам удивился: зачем он это сказал, как мог это сказать? Софья не слышала. Губы у нее дергались – так дергается пенка на молоке, уже совсем застывая. «Что ж это, что ж это, что ж это?» – с трудом выговорила Софья, не глядя на Трофима Иваныча. Трофим Иваныч весь сморщился, забился в какой-то угол внутри себя, так молча стоял минуту. Потом с корнем выдернул свои ноги из земли и ушел в комнату. Там Ганька уже постукивала полсапожками, одетая.

Все в мире шло по-прежнему, и надо было жить. Софья собрала ужинать. Тарелки, как всегда, подавала Ганька. Когда она принесла хлеб, Трофим Иваныч обернулся, задел головой, хлеб упал к нему на колени. Ганька захохотала. Софья посмотрела на нее, обе они столкнулись глазами и мгновение совсем по-новому, чем раньше, вглядывались одна в другую. Софья почувствовала, как в ней кругло, медленно поднималось от живота, снизу, потом все горячее,

быстрее, выше, она задышала часто. Больше невозможно было смотреть на Ганькину русую челку, на черную родинку у нее на губе – нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор, или что-то сделать. Софья опустила глаза, Ганька усмехнулась. После ужина Софья мыла тарелки, Ганька стояла с полотенцем и вытирала. Это было без конца, это было, может быть, самое трудное за весь этот вечер. Потом Ганька пошла спать к себе на кухню. Софья стала делать постель, внутри все горело, ее трясло. Трофим Иванов, отвернувшись, сказал ей: «Постели мне у окна на лавке». Софья постлала. Она слышала, как ночью, когда она перестала ворочаться, Трофим Иванов встал и пошел на кухню к Ганьке.

3

На подоконнике у Софьи стояла опрокинутая вверх дном стеклянная банка, под эту банку, неизвестно как, попала муха. Уйти ей было некуда, но она все-таки ползала весь день. От солнца под банкой была равнодушная, медленная, глухая жара, и такая же жара была на всем Васильевском острове. Все-таки весь день Софья ходила, что-то делала. Днем часто собирались тучи, тяжелели, вот-вот треснет над головой зеленое стекло и наконец прорвется, хлынет ливень. Но тучи неслышно расползались, к ночи стекло становилось все толще, душнее, глуше. Никто не слышал, как ночью по-разному дышали трое: одна – зарывшись в подушку, чтобы ничего не слышать, двое – сквозь стиснутые зубы, жадно, жарко, как котельная форсунка.

Утром Трофим Иванов уходил на завод. Ганька уже кончила учиться, она оставалась с Софьей вдвоем. Она была очень далеко от Софьи: и Ганьку, и Трофима Иванова, и все кругом Софья видела и слышала теперь откуда-то издали. Оттуда она говорила Ганьке, не разжимая губ: подмети кухню, вымой пшено, наколи щепок. Ганька мела, мыла, колола. Софья слышала удары топора, знала, что это – Ганька, та самая, но это было очень далеко, не было видно.

Ганька всегда колола щепки, присев на корточки, широко раздвинув круглые колени. Один раз, неизвестно почему, случилось так, что Софья увидела – увидела эти колени, чуть подвинутую русую челку на лбу. В висках у нее застучало, она поспешно отвернулась и сказала Ганьке, не глядя: «Я сама... Поди на улицу». Ганька, потрянув челкой, весело убежала и вернулась домой только к обеду, перед самым приходом Трофима Иванова.

Она стала уходить с утра каждый день. Пелагея, верхняя, однажды сказала Софье: Ганька-то ваша с ребятами в пустой дом бегают. Вы бы за ней приглядели, а то добегается девчонка». Софья подумала: «Нужно об этом Трофиму Иванову...» Но когда пришел Трофим Иванов, она почувствовала, что не может произнести вслух это имя: Ганька. Она ничего Трофиму Иванову не сказала.

Так, стеклянно, бесслезно, давя сухими тучами, прошло все лето, и осень шла такая же сухая. В какой-то синий и не по-осеннему теплый день утром задул ветер с моря. Через закрытое окно Софья услышала пухлый, ватный выстрел, потом скоро другой и третий – должно быть, в Неве подымалась вода. Софья была одна, не было ни Ганьки, ни Трофима Иванова. Опять мягко стукнула пушка в окно, стекла от ветра звенели. Сверху прибежала Пелагея – запыхавшаяся, разлтая, вся настезь, она крикнула Софье: «Ты что же, с ума спятила –

сидишь-то? Нева через край пошла, сейчас все затопит».

Софья выбежала за ней на двор. Сразу же ветер, свистя, всю ее туго обернул, как полотном. Она услышала: где-то хлопали двери, бабий голос кричал: «Цыплят, цыплят собирай скорее!» Над головой быстро, косо пронесло ветром какую-то большую птицу, крылья у нее были широко раскрыты. Софье вдруг стало легче, как будто именно это ей и было нужно – вот такой ветер, чтобы все захлестнуло, смело, затопило. Она повернулась навстречу, губы раскрылись, ветер ворвался и запел во рту, зубам было холодно, хорошо.

Вместе с Пелагеей Софья быстро перетаскала вверх свои постели, одежду, съестное, стулья. Кухня была уже пустая, только в углу стояла расписанная цветами укладка. «А это?» – спросила Пелагея. «Это... ее», – ответила Софья. «Чья – ее? Ганькина, что ли? Так что ж ты оставляешь?» Пелагея подняла укладку и, придерживая ее выпяченным животом, потащила вверх.

Часа в два наверху в окне высадило ветром стекло. Пелагея подбежала – заткнуть подушкой, вдруг взвыла в голос: «Пропали мы... Господи, пропали!» – и схватила на руки своего ребенка. Софья взглянула в окно и увидела: там, где была улица, теперь неслась зеленая, рябая от ветра вода; медленно поворачиваясь, плыл чей-то стол, на нем сидела белая с рыжими пятнами кошка, рот у нее был раскрыт – должно быть, мяукала. Не называя по имени Ганьку, Софья подумала о ней, сердце забилося.

Пелагея топила печку. Она металась от печки к ребенку, к окну, где стояла Софья. В доме напротив, в первом этаже, была открыта форточка, было видно, как теперь ее покачивало водою. Вода все подымалась, плыли бревна, доски, сено, потом мелькнуло что-то круглое, показалось, что это голова. «Может, уж и мой Андрей, и твой Трофим Иванов...» – Пелагея не кончила, слезы у нее покатались – настужь, широко, просто. Софья удивилась себе: как же это она – будто даже забыла о Трофиме Иваныче и все время только об одном, о той, о Ганьке.

Сразу обе – и Пелагея и Софья – услышали где-то на дворе голоса. Они побежали в кухню, к окнам. Распиливая дрова, по двору плыла лодка, в ней стояло двое каких-то и Трофим Иванов без шапки. На нем поверх ватной безрукавки была синяя блуза, ветром ее плотно притиснуло с одного боку, а с другого раздуло, и казалось – он сломан посередине тела. Те двое спросили его о чем-то, лодка завернула за угол дома, за ней, сталкиваясь, пошли дрова.

По пояс мокрый, Трофим Иванов вбежал в кухню, с него текло, он как будто не замечал. «Где... где она?» – спросил он Софью. «С утра ушла», – сказала Софья. Пелагея тоже поняла – о ком. «Я уж давно Софье говорила... Вот и догонялась, плывет где-нибудь...» Трофим Иванов отвернулся к стене и стал водить по ней пальцем. Он долго стоял так, с него текло, он не чувствовал.

К вечеру, когда вода уже схлынула, пришел Пелагеин муж. Под висячей лампой блестела его крепкая, спелая лысина, он рассказывал, как господин с портфелем саженьками плыл в свой подъезд, как барыни бежали, все выше подымая юбки. «А утопло много?» – спросила Софья, не глядя. «Страсть! Тыщи!» – зажмурился извозчик. Трофим Иванов встал. «Я пойду», – сказал он.

Но он никуда не пошел: дверь открылась, в двери стояла Ганька. Платье у нее прилипло к груди, к коленям, она была вся захлапанная, но глаза у нее блестели. Трофим Иванович стал улыбаться нехорошо, медленно, одними зубами. Он подошел к Ганьке, схватил ее за руку и увел в кухню, плотно прикрыл за собой дверь. Было слышно, как он сквозь зубы сказал что-то Ганьке и стал ее бить, Ганька всхлипывала. Потом долго плескалась водой и вошла в комнату опять веселая, встряхивая челкой на лбу.

Пелагея уложила ее спать в чуланчике за перегородкой, а Трофиму Ивановичу и Софье сделала постель на лавке в кухне. Они остались вдвоем. Трофим Иванович потушил лампу. Окно побледнело, в тонкой сорочке из облаков дрожал месяц. Белея, Софья разделась, легла, потом – Трофим Иванович.

Лежа, Софья думала сейчас только об одном: чтобы он не заметил, как она дрожит. Она лежала, вытянувшись, будто вся покрытая корочкой из тончайшего льда: в таких непрочных ледяных чехлах бывают ветки деревьев осенью рано утром, и только чуть шевельнет их ветром – все рассыпается в пыль.

Трофим Иванович не шевелился, его не было слышно. Но Софья знала, что он не спит: во сне он всегда чмокал, как маленькие дети, когда сосут. И знала, почему он не спит: здесь ему уже нельзя было пойти к Ганьке. Софья закрыла глаза, сжала губы, всю себя – чтобы ни о чем не думать.

Вдруг Трофим Иванович, будто что-то решив, быстро повернулся к Софье. Вся кровь в ней остановилась с разбегу, ноги замерли, она ждала. Месяц, кутаясь в одеяло, дрожал за окном минуту, две. Трофим Иванович приподнял голову, поглядел в окно, потом осторожно, стараясь не коснуться Софьи, опять повернулся к ней спиной.

Когда он, наконец, задышал ровно и стал причмокивать во сне, как дети, Софья открыла глаза. Она тихонько нагнулась над Трофимом Ивановичем, совсем близко, так что увидела один длинный черный волос, спускавшийся у него с брови прямо в глаз. Он пошевелил губами. Софья смотрела, она уже ничего не помнила о нем, его было только жалко. Она протянула руку – и сейчас же отдернула: ей хотелось погладить его, как ребенка, но она не могла, не смела...

Так было каждую ночь все три недели, пока нижняя квартира просыхала. Каждое утро перед заводом Трофим Иванович спускался туда на полчаса, кое-что подправлял там. Однажды он вернулся оттуда веселый, шутил с Пелагеей, но Софья видела, как он водил глазами за Ганькой: Ганька, нагнувшись, мела комнату. Уходя, Трофим Иванович сказал Софье: «Ну, перебирайся вниз, пора – все готово». И потом Ганьке: «Печки протопи получше, дров не жалей, чтоб к вечеру тепло было».

Софья поняла: не к вечеру, а к ночи. Она не сказала ничего, не подняла глаз, только губы у нее чуть дергались, как пенка на молоке, уже совсем застывая.

Извозчик, Пелагеин муж, выезжал нынче только после полудня, до тех пор вместе с Софьей и Ганькой он быстро перетаскал все вниз. «Ну, что же, как тебя поздравлять-то: со старосельем, что ли?» – сказал он Софье.

Быстро, в несколько взмахов, как большая птица, Софья облетела глазами комнату. Все стало как прежде: стулья, тусклое зеркало, стенные часы, кровать, где Софья по ночам будет опять одна. Ей показалось счастьем то, что было наверху: там ночью она слышала его дыхание, он не был с тою, с другой, он был ничей, а теперь – вот сегодня, сегодня же...

Ганьки не было, она ушла за дровами. Софья стояла, прислонившись лбом к окну. Стекло позванивало, бил ветер, летели серые, городские, низкие, каменные облака – будто опять вернулись те же душные тучи, ни разу за все лето не прорвавшиеся грозой. Софья чувствовала, что эти тучи не за окном, а в ней самой, внутри, они каменно наваливались одна на другую уже целые месяцы – и, чтобы не задушили сейчас, нужно что-то разбить вдребезги, или убежать отсюда, или закричать таким же голосом, как тогда сапожник о Страшном суде.

Софья услышала: вошла Ганька, из мешка вытряхнула дрова на пол, потом стала укладывать их в печку. Окно вздрогнуло, будто снаружи в него тукнуло сердце. Это была пушка, воду опять гнало ветром, она напруживала синие невские жилы. Софья стояла все так же, не оглядываясь, чтобы не увидеть Ганьку.

Вдруг Ганька негромко, в нос запела – раньше этого не случалось никогда. Софья оглянулась. Она увидела: бросив топор, Ганька сидела на корточках и ножом щепала лучину; круглые, широко раздвинутые колени вздрагивали под платьем, и вздрагивала челка на лбу. Софья хотела отвести от нее глаза и не могла. Медленно, трудно, как баржа, канатом притягиваемая к берегу против течения, – канат дрожит и вот-вот лопнет, – Софья подошла к Ганьке. От работы Ганька вся разгорелась, Софью ошунуло жарким, сладковатым запахом ее пота – должно быть, ночью она пахла вот так же.

И как только Софья вдохнула в себя этот запах, снизу, от живота, поднялось в ней, перехлестнуло через сердце, затопило всю. Она хотела ухватиться за что-нибудь, но ее несло, как тогда по улице несло дрова, кошку на столе. Не думая, подхваченная волной, она подняла топор с полу, она сама не знала зачем. Еще раз стукнуло в окно огромное пушечное сердце. Софья увидела глазами, что держит топор в руке. «Господи, господи, что ж это я?» – отчаянно крикнула внутри одна Софья, а другая в ту же секунду обухом топора ударила Ганьку в висок, в челку.

Ганька не крикнула и ничего, только ткнулась головою в колени, потом с корточек мягко перевалилась на бок. Софья еще несколько раз жадно, быстро ударила по голове острием, хлынула кровь на железный лист перед печкой. И будто эта кровь – из нее, из Софьи, в ней наконец прорвало какой-то нарыв, лилось оттуда, капало, и с каждой каплей ей становилось все легче. Она бросила топор, вздохнула глубоко, свободно – никогда не дышала, вот только что глотнула воздуха в первый раз. Ни страха, ни стыда – ничего не было, только какая-то во всем теле новизна, легкость, как после долгой лихорадки.

Дальше было так, как будто Софьины руки совсем отдельно от нее думали и делали все, что надо, а она сама, в стороне, блаженно отдыхала, и только изредка глаза у нее раскрывались,

она начинала видеть, она смотрела на все с удивлением.

Ганькины туфли, коричневое платье, сорочка, политые керосином, уже горели в печи, а она сама, вся голая, розовая, парная, лежала ничком на полу, и по ней не спеша, уверенно ползла муха. Софья увидела муху, прогнала ее. Чужие, Софьины руки легко, спокойно разрубили тело пополам – иначе его было никак не унести. Софья в это время думала, что в кухне на лавке лежит еще не дочищенная Ганькой картошка, нужно ее сварить к обеду. Она пошла в кухню, заперла дверь на крючок, затопила там печь.

Когда вернулась в комнату, она увидела, что новая серая, под мрамор, клеенка вытащена из комода и лежит на полу, разорванная на два куска. Софья удивилась: кто же это разорвал, зачем? Но сейчас же вспомнила, постелила клеенку на дно в мешок и положила туда половину розового тела. На руки к ней садилась, липла к ним все та же муха, Софья сгоняла ее, она садилась опять. Один раз Софья увидела ее совсем близко: ноги у нее были тоненькие, как из черных катушечных ниток. Потом и муха и все исчезло, было только одно: кто-то стучал в кухонную дверь.

Софья на цыпочках подошла к порогу и ждала. Опять стучали, все сильнее. Софья смотрела, как от ударов вздрагивал крючок, – и даже не смотрела, а чувствовала: крючок был сейчас частью ее самой, как ее глаза, ее сердце, ее мгновенно похолодевшие ноги. Как будто знакомый голос крикнул за дверью: «Софья!», она молчала, чьи-то шаги, спускаясь, затопали по ступеням. Тогда Софья стала дышать, посмотрела в окно. Это была Пелагея, ветром сзади на ней обхлестывало платье, и казалось, что она идет, подогнувши колени.

Опять долго были только одни Софьины руки, и не было ее самой. Вдруг она увидела, что стоит на краю канавы, вода в канаве лиловая, стеклянная от заката, и туда же, в канаву, выброшен весь мир, небо, сумасшедше-быстрые лиловые тучи, а за спиной у Софьи тяжелый мешок, и что-то такое под пальто придерживает правая рука, Софья не могла понять – что. Но рука вспомнила, что это – лопата, снова стало все просто. Она перешла через канаву, отдельно от себя, одними глазами, огляделась кругом: никого, она была на Смоленском поле одна, быстро темнело. Она выкопала яму и свалила туда все, что было в мешке.

Когда было уже совсем темно, она принесла полный мешок еще раз, зарыла яму и пошла домой. Под ногами была черная, неровная, вспухшая земля, ветер обхлестывал ноги холодными, тугими полотенцами. Софья спотыкалась. Она упала, ткнулась рукой во что-то мокрое и так шла потом с мокрой рукой, боялась ее вытереть. Далеко, должно быть на взморье, загорался и потухал огонек, а может быть, это было совсем близко – кто-нибудь закуривал папиросу на ветру.

Дома Софья быстро вымыла пол, сама вымылась в лотке на кухне и надела на себя все свежее, как после исповеди перед праздником. Зажженные Ганькой дрова давно прогорели, но по угольям еще бегали последние синие огоньки. Софья бросила туда мешок, клеенку, весь мусор, какой еще остался. Огонь ярко вспыхнул, все сгорело, теперь в комнате было совсем чисто. И так же сгорел весь мусор в Софье, в ней тоже стало чисто и тихо.

Она села на лавку. В ней сразу ослабели, развязались все узлы, она внезапно почувствовала, что устала так, как не уставала ни разу за всю жизнь. Она положила голову на руки, на стол и

в ту же секунду заснула – полно, счастливо, вся.

5

Маятник на стене метался, как птица в клетке, чующая на себе пристальный кошачий глаз. Софья спала. Это длилось, может быть, час, может быть, только от одного удара маятника к другому. Когда она подняла голову, перед нею, вросши ногами в землю, стоял Трофим Иванович.

Ему было тесно, он расстегнул воротник рубахи. «Где она?» – сказал он, нагибаясь к Софье. Пахнуло вином, от его тела шел тугой, напряженный жар. «Где Ганька?» – переспросил он. «Да, где она теперь?» – подумала Софья и ответила вслух: «Не знаю». – «Ага... Не знаешь?» – криво, медленно сказал Трофим Иванович, совсем близко Софья увидела его глаза, они были оскалены, как зубы. Он никогда ее не бил, а сейчас показалось: вот ударит. Но он только посмотрел на Софью и отвернулся – если б ударил, может, было бы легче.

Сели обедать. Софья была одна, она чувствовала: Трофим Иванович ее не видит, видит не ее. Он хлебнул щей и остановился, крепко зажав ложку в кулаке. Вдруг громко задышал и стукнул кулаком в стол, из ложки выкинуло капусту к нему на колени. Он подобрал ее и не знал, куда девать, скатерть была чистая, он смешно, растерянно держал капусту в руке, был как маленький – как тот цыганенок, которого Софья видела тогда в пустом доме. Ей стало тепло от жалости, она подставила Трофиму Ивановичу свою, уже пустую тарелку. Он, не глядя, сбросил туда капусту и встал.

Когда вернулся, в руке у него была бутылка мадеры. Софья поняла, что это было куплено для той, сердце у нее сразу же зазябло, она опять сидела одна. Трофим Иванович наливал и пил.

После обеда он молча придвинул к себе лампу и взял газету, но Софья видела, что он читал все одну и ту же строчку. Она видела, как газета вздрогнула: в сенях заскрипели половицы... Нет: это не к нам, это наверх. Опять стало тихо, только, как птица, метался маятник на стене. Было слышно: наверху передвигали что-то тяжелое, там, должно быть, уже ложились спать.

Ганьки все не было. Трофим Иванович прошел мимо Софьи к вешалке, надел шапку, постоял, потом сорвал ее с себя так, как будто вместе с шапкой хотел сорвать и голову – чтоб больше не думать, – и лег на лавку, лицом к стене. «Погоди, дай я постелю», – сказала Софья. Он встал, посмотрел, его глаза прошли через Софью, как сквозняк.

Она сделала постель, подошла к двери, чтобы запереть на крючок, протянула уже руку – и остановилась: а вдруг Трофим Иванович спросит, почему она знает, что Ганька не вернется? Было нельзя, но все-таки Софья оглянулась. Она увидела: Трофим Иванович следит за ней, за ее рукой, протянутой и не смеющей дотронуться до крючка. «Что? Что же стала?» – спросил он и усмехнулся неровно, наполовину. «Все знает...» – подумала Софья, маятник перед ней метнулся один раз и застыл. Трофим Иванович наливался кровью молча, медленно, он оттолкнул стол, что-то упало, это было в Софье, внутри. Вот сейчас, сию минуту он скажет все...

Тяжко вытягивая ноги из земли, он двигался к Софье, на лбу у него вспухла, как Нева, синяя

жила. «Ну? Что же ты? – крикнул он; все в комнате остановилось. – Запирай! Пускай где хочет, у кого хочет ночует, на улице, под забором, с собаками! Запирай, слышишь?» – «Как... как?» – еще не веря, сказала Софья. «Так!» – отрезал Трофим Иваныч и повернулся. Софья накинула крючок.

Она еще долго дрожала под одеялом, пока наконец согрелась, поверила, что Трофим Иваныч не может знать, не знает. Часы над ней громко долбили клювом в стену. На лавке у себя заворочался Трофим Иваныч, задышал жадно сквозь стиснутые зубы. Софья слышала это так, как будто он обо всем говорил словами, громко, вслух. Она увидела ненавистные белые кудряшки на лбу – и в ту же секунду они исчезли: Софья вспомнила, что их нет и больше никогда не будет. «Слава богу... – сказала она себе и сейчас же спохватилась: – Что „слава богу“? Господи!»

Опять заворочался Трофим Иваныч, Софья подумала, что ведь и его тоже нет и никогда не будет, ей теперь всегда жить одной, на сквозняке, и тогда зачем же все это, что было сегодня? Трудно, ступенями, она стала набирать в себя воздух, она, как веревкой, дыханием поднимала какой-то камень со дна. На самом верху этот камень оборвался, Софья почувствовала, что может дышать. Она вздохнула и медленно стала опускаться в сон, как в глубокую, теплую воду.

Когда она была уже почти на дне, она услышала: об пол шлепнули босые ноги. Она вздрогнула и тотчас же всплыла вверх. Там сейчас скрипел пол, Трофим Иваныч осторожно шел куда-то. Так по ночам он ходил на кухню к Ганьке, Софья всегда сжималась в комок, чтобы недохнуть, не крикнуть, и так же она сжалась теперь. Она поняла: его тянуло туда, он, может быть, схватит, стиснет там ее подушку или просто будет стоять там, перед пустой Ганькиной постелью...

Половицы скрипели, потом перестали, Трофим Иваныч остановился. Софья приоткрыла глаза: Трофим Иваныч, белея, стоял на полдороге между своей лавкой и кроватью, где лежала она. И вдруг Софью прокололо, что он идет не в кухню, а к ней – к ней! Ее всю опажнуло жаром, зубы у нее застучали, она зажмурилась. «Софья...» – тихо сказал Трофим Иваныч и потом еще тише: «Софья». Она узнала его тот самый, особенный, ночной голос, сердце оторвалось от ветки и, неровно перевертываясь, птицей падало вниз. Без мыслей, чем-то другим – стиснутыми до боли коленками, складками тела – Софья подумала, что ему будет проще, легче, если она не откликнется, и она лежала не дыша, молча.

Трофим Иваныч нагнулся к ней, она близко слышала его дыхание, должно быть, он смотрел на нее. Это была только секунда, но Софья боялась, что не выдержит, она закричала неслышно: «Господи! Господи!» Наверху, за тысячи верст, где сейчас неистово неслись тучи, чуть слышно засмеялась Пелагея. Горячая, сухая рука коснулась Софьиных ног, она медленно раскрыла губы, раскрылась мужу вся, до дна – первый раз в жизни. Он стиснул ее так, будто хотел выместить на ней всю жадную злобу к той, другой. Софья услышала, как он заскрипел зубами, как опять наверху шепотом засмеялась Пелагея, – и больше уж не помнила ничего.

Утром был мороз, окна были из леденца, сине-желтый зайчик полз по белой стене. Софья вышла во двор. За ночь все утихло, утро стояло спокойное, прозрачное, дым, прямой и розовый, шел к небу.

На дворе была Пелагея. Она сказала Софье: «Ганька-то ваша сбежала, а? Вот и корми их, этаких!» Софья посмотрела на нее легкими, прямыми, сделанными из этого утра глазами, попробовала вспомнить вчерашнее – и не могла: это было все очень далеко, скорее всего, ничего этого не было. Пелагея рассказывала, что перед заводом Трофим Иваныч заходил к ним, спрашивал, не видали ли Ганьку. Софья про себя засмеялась. «Чему ты?» – удивилась Пелагея. «Так...» – сказала Софья, она смотрела на прямой, розовый дым – такой же дым был в деревне, откуда ее взял Трофим Иваныч. Там сейчас, должно быть, рубят капусту, кочерыжки – холодноватые, белые, хрустящие. Ей показалось, что все это было только вчера, и она сама такая же, какая была, когда ела кочерыжки.

Вернувшись с завода, Трофим Иваныч спросил только: «Ну? Нету?» Софья уже знала, о чем он, она спокойно сказала: «Нету». Трофим Иваныч пообедал и сейчас же ушел куда-то. Вернулся поздно, темный – должно быть, искал, спрашивал у всех, всюду. Ночью он опять пришел к Софье, – так же молча, злобно, жадно, как вчера.

На следующий день Трофим Иваныч заявил о Ганьке в милицию. Софью, Пелагею с мужем, соседей вызвали туда. За столом сидел какой-то молодой малый в кепке, на носу у него было серьезное пенсне без оправы, а лицо было цыплячье, конопатое, и на столе под бумагами лежали черные сухари. Все говорили ему одно и то же: что видели, как Ганька гуляла с какими-то ребятами, и не гаваньскими, а пришлыми, с Петербургской стороны. Пелагея вспомнила: Ганька сказала однажды, что ей тут надоело, что она уйдет. Малый в кепке записывал. Софья смотрела на конопатое лицо, на пенсне, на сухари, ей стало жалко его.

Когда шли оттуда домой, Софья попросила Трофима Иваныча купить новый топор: старый, должно быть, украли, а может, и завалился куда-нибудь – не найти. Больше о Ганьке Софья не думала, Трофим Иваныч тоже больше не говорил о ней ни слова. Только иногда он сидел, без конца глядя в одну и ту же строчку в газете, и Софья знала, о чем он молчит. Так же молча он поднимал на нее угольные, черные, цыганские глаза, тяжело, молча, глазами плыл за ней, ей становилось жутко: а вдруг он что-нибудь такое скажет, но он ничего не говорил.

Дни были все такие же ясные, хрустящие и только становились все короче, будто вот-вот, не сегодня-завтра, вспыхнут последний раз как огарок – и темно, конец всему. Но приходило завтра, все еще не было конца. И все-таки с Софьей началось что-то неладное. Она не спала одну ночь, другую и третью, под глазами у нее было темно, они куда-то осели. Так весной темнеет, оседает, проваливается снег – и под ним вдруг земля, но до весны было еще далеко.

Вечером через жестяную лейку Софья наливала в лампу керосин. Трофим Иваныч крикнул ей: «Гляди, гляди – что делаешь-то: через край!» Только тут Софья увидела, что лампа уже полна, и керосин, должно быть, давно уж льется на стол. «Через край»... – растерянно повторила Софья, всегда сжатые губы у нее были раскрыты, как ночью; она смотрела на Трофима Иваныча, ему показалось – она хочет сказать что-то еще. «Ну, что?» – спросил он. Софья отвернулась. «Про... про нее что-нибудь... про Ганьку?» – услышала она голос, протиснутый сквозь белые, цыганские зубы. Она не ответила.

Когда она подавала ужин, она уронила на пол тарелку с кашей. Трофим Иванов поднял голову, увидел ее какие-то новые, осевшие, как снег, глаза, ему стало нехорошо смотреть на нее: это была не она. «Да что с тобой, Софья?» И опять она ничего не сказала.

Ночью он пришел к ней, он не был с ней ни разу после тех двух ночей. Когда она услышала тот самый его, ночной, голос: «Софья, скажи, я знаю – тебе надо сказать», – она не выдержала, это было через край, хлынули слезы. Они были теплые – Трофим Иванов почувствовал их щекой, испугался. «Да что, что? Все равно – говори уж!» Тогда Софья сказала: «У меня... ребенок будет...» Это было в темноте, это было не видно. Сухой, горячей рукой Трофим Иванов провел по ее лицу – чтобы увидеть, у него дрожали пальцы, он почувствовал ими, что Софьины губы широко раскрыты и улыбаются. Он только сказал ей: «Со-офка!» Так он не называл ее уже давно, лет десять. Она блаженно, полно засмеялась. «Да когда ж это?» – спросил Трофим Иванов. Это случилось в одну из тех двух ночей, сейчас же как пропала Ганька. «Еще помнишь – наверху Пелагея... и я еще тогда подумала, что и у меня, как у Пелагеи, будет... Нет, вру: я ничего тогда не думала, это я сейчас... Да я и сейчас не верю... нет, верю!» – она путалась, слезы текли легко, как талые ручьи по земле. Трофим Иванов положил руку ей на живот, осторожно, робко провел рукой снизу вверх. Живот был круглый, это была земля. В земле, глубоко, никому не видная, лежала Ганька, и в земле, никому не видные, рылись белыми корешками зерна. Это было ночью, потом опять настал день и вечер.

Вечером, к обеду, Трофим Иванов принес бутылку мадеры. Точно такую же бутылку Софья уже видела один раз: лучше бы он теперь принес что-нибудь другое. Это Софья даже не подумала, а так – будто прочитала одними глазами, внутрь это не вошло: все тело у нее улыбалось, оно было полно до краев, больше туда уж ничего не могло войти. Ей только было страшно, что дни становились все короче, вот-вот догорят совсем, и тогда – конец, и нужно торопиться, нужно до конца еще успеть сказать или сделать что-то.

Однажды Трофим Иванов вернулся домой позже, чем всегда. Он остановился на пороге, широкий, крепко вросший ногами в землю, на лице у него была угольная пыль. Он сказал Софье: «Ну, опять вызывали». Софья сразу же поняла, куда и зачем, внутри в ней маятник остановился и пропустил – раз, два, три удара. Она села. «Ну?» – спросила она Трофима Иванова. «Да что ж: сказали – дело кончено, не нашли. Куда-нибудь с хахалем уехала – ну и черт с ней! Только бы опять не заявилась...» Сердце у Софьи ожило: еще не конец.

И тотчас же востепенелось, ожило в ней, чуть пониже, будто еще одно, второе сердце. Она ахнула вслух, схватилась руками за живот. «Что ты?» – подбежал Трофим Иванов. «Он... шевелится...» – чуть сказала Софья. Трофим Иванов мотнул головой, схватил, поднял Софью вверх, она была легкая, как птица. «Пусти», – сказала она. Он поставил ее на пол, зубы у него белели, как клавиши на гармонии, он засмеялся во все клавиши сразу. После Ганьки это было впервые, должно быть, он и сам это сейчас понял. Он сказал Софье: «Ну вот что, Софка: запомни – если она теперь заявится, я ее...»

В дверь постучали, оба повернулись быстро. Софья услышала, как Трофим Иванов почти вслух подумал: «Ганька», и то же самое мелькнуло Софье. Она знала, что это не может быть – и все-таки это было. «Открывать?» – спросил Трофим Иванов. «Открывай», – ответила

Софья совсем белым голосом.

Трофим Иванов открыл, вошла Пелагея – громкая, разлтая, вся настежь. «Ты что ж это – белая такая? – сказала она Софье. – Тебе теперь, бабочка, надо есть побольше». Пелагея рожала уже два раза, она заговорила об этом с Софьей, снова у Софьи заулыбалось все тело, она забыла о Ганьке.

Ночью, когда она уже совсем опускалась на дно, засыпая, – ей вдруг, неизвестно почему, опять мелькнула Ганька, как будто она лежала где-нибудь на этом ночном дне. Софья вздрогнула, открыла глаза, на потолке плескались светлые пятна. Она услышала: за окном бил ветер, чуть позванивало стекло – так же было и в тот день. Она стала вспоминать, как все это вышло, но ничего не могла вспомнить, долго лежала так. Потом, как будто совсем ни к чему, отдельно, увидела: кусок мраморной клеенки на полу и муха ползет по розовой спине. У мухи ясно видны были ноги – тоненькие, из черных катушечных ниток. «Кто же, кто это сделал? Она – вот эта самая она – я... Вот Трофим Иванов рядом со мной, и у меня будет ребенок – и это я?» Все волосы на голове у нее стали живыми, она схватила за плечо Трофима Иванова и стала трясти его: нужно было, чтобы он сейчас же сказал, что этого не было, что это сделала не она. «Кто... кто? Это ты, Софка?» – еле расклеил глаза Трофим Иванов. «Это – не я, не я, не я!» – крикнула Софья и остановилась: она поняла, что больше сказать ничего не может, нельзя, и она никогда не скажет – потому что... «Господи... Родить скорей бы!» – сказала она громко. Трофим Иванов засмеялся: «Вот дура! Успеешь!» – и скоро опять зачмокал во сне.

Софья не спала. Она перестала спать по ночам. Да и ночей уже почти не было, за окном все время колыхалась тяжелая, светлая вода, не переставая, жужжали летние мухи.

7

Утром, уходя на завод, Трофим Иванов рассказал, что вчера у них маховиком зацепило смазчика и долго вертело, а когда его сняли, он пощупал голову, спросил: «Где шапка?» – и кончился.

Окно уже было выставлено, Софья протирала тряпкой стекла и думала про смазчика, про смерть, и показалось, что это будет совсем просто – вот как заходит солнце, и темно, а потом опять день. Она встала на лавку, чтобы протереть верх, – и тут ее подхватил маховик, она выронила тряпку, закричала. На крик прибежала Пелагея, это Софья еще помнила, а больше не было ничего, все вертелось, все несло мимо, она кричала. Один раз она почему-то очень ясно услышала далекий звонок трамвая, голоса ребят на дворе. Потом все с размаху остановилось, тишина стояла, как пруд, Софья чувствовала – из нее льется, льется кровь. Должно быть, так же было со смазчиком, когда его сняли с маховика.

«Ну, вот и конец», – сказала Пелагея. Это был не конец, но Софья знала, что до конца теперь только минуты, надо было скорее, скорее... «Скорее!» – сказала она. «Что – скорее?» – спросил Пелагеин голос. «Девочку... покажи мне». «А ты почему знаешь, что девочка?» – удивилась Пелагея и показала вырванный из Софьи живой красный кусок: крошечные пальцы на подобранных к животу ногах шевелились, Софья смотрела, смотрела. «Да уж на, на, возьми», – сказала Пелагея, положила ребенка на кровать к Софье, а сама ушла в кухню.

Софья расстегнулась, приложила ребенка к груди. Она знала, что это полагается только на другой день, но ждать было нельзя, надо было все скорее, скорее. Ребенок, захлебываясь, неумело, слепо начал сосать. Софья чувствовала, как из нее текут теплые слезы, теплое молоко, теплая кровь, она вся раскрылась и истекала соками, она лежала теплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как земля, – ради этой одной минуты она жила всю жизнь, ради этого было все. «Я к себе наверх сбегая – тебе больше ничего не надо?» – спросила Пелагея. Софья только пошевелила губами, но Пелагея поняла, что ей теперь больше не надо ничего.

Потом Софья как будто дремала, под одеялом было очень жарко. Она слышала звонки трамваев, ребята на дворе кричали: «Лови ее!» – все это было очень далеко, сквозь толстое одеяло. «Кого же – ее?» – подумала Софья, открыла глаза. Далеко, будто на другом берегу, Трофим Иванович зажигал лампу – шел густой дождь, от дождя было темно, лампа была крошечная, как булавка. Софья увидела белые, как клавиши, зубы – Трофим Иванович, должно быть, улыбался и что-то говорил ей, но она не успела понять – что, ее тянуло ко дну.

Сквозь сон Софья все время чувствовала лампу: крошечная, как булавка, – она была теперь уже где-то внутри, в животе. Трофим Иванович ночным голосом сказал: «Ах ты... Софка моя!» Лампа стала так жечь, что Софья позвала Пелагею. Пелагея дремала около кровати сидя, она вздернула голову, как лошадь. «Лам... па...» – трудно выговорила Софья, язык был как варешка. «Потушить?» – метнулась Пелагея к лампе. Тогда Софья совсем проснулась и сказала Пелагее, что жжет в животе, в самом низу.

На рассвете Трофим Иванович сбегал за докторшей. Софья узнала ее: та же самая, грудастая, в пенсне, она тогда была у столяра перед концом. Докторша осмотрела Софью: «Так... хорошо... очень хорошо... А здесь больно? Так-так-так...» Потом весело, курносо повернулась к Трофиму Ива-нычу: «Ну, надо скорее в больницу». У Трофима Ивановича зубы потухли, рукой с угольными прожилками он ухватился за спинку Софьиной кровати. «Что с ней?» – спросил он. «А еще не знаю. Похоже – родильная горячка», – весело сказала докторша, пошла в кухню мыть руки.

Софью подняли на носилки и стали поворачивать к двери. Мимо нее прошло все, с чем она жила: окно, стенные часы, печь – как будто отчаливал пароход и все знакомое на берегу уплывало. Маятник на стене метнулся в одну сторону, в другую – и больше его не было видно. Софье показалось: надо здесь, в этой комнате, что-то еще сделать последний раз. Когда уже открылась дверца в карете, Софья вспомнила – что, быстро расстегнулась, вытащила грудь, но никто не понял, чего она хочет, санитары засмеялись.

Некоторое время ничего не было. Потом опять появилась лампа, она была теперь вверху, под белым потолком. Софья увидела белые стены, белых женщин в кроватях. Очень близко по белому ползла муха, у нее были тоненькие ноги из черных катушечных ниток. Софья закричала и, отмахиваясь, стала сползать с кровати на пол. «Куда? Куда? Лежите!» – сказала сиделка, подхватила Софью. Мухи больше не было, Софья спокойно закрыла глаза.

Вошла Ганька – с полным мешком дров. Она села на корточки, широко раздвинув колени, оглянулась на Софью, ухмыляясь, встряхнула белой челкой на лбу. Сердце у Софьи забилося, она ударила ее топором и открыла глаза. К ней нагнулось курносое лицо в пенсне,

толстые губы быстро говорили: «Так-так-так...», пенсне блестело, Софья зажмурилась. Тотчас же вошла Ганька с дровами, села на корточки. Софья опять ударила ее топором, и опять докторша, покачивая головой, сказала: «Так-так-так...» Ганька ткнулась головой в колени, Софья ударила ее еще раз.

«Так-так-так... Хорошо, – сказала докторша. – Муж ее тут? Позовите скорей». «Скорей! Скорей!» – крикнула Софья; она поняла, что – конец, что она умирает и надо торопиться изо всех сил. Сиделка побежала, хлопнула дверь. Где-то очень близко ухнула пушка, ветер бешено бил в окно. «Наводнение?» – спросила Софья, широко раскрывая глаза. «Сейчас, сейчас... Лежите», – сказала докторша.

Пушка ухала, ветер гудел в ушах, вода подымалась все выше – сейчас хлынет, унесет все – нужно скорее, скорее... Вчерашняя, знакомая боль рванула пополам, Софья раздвинула ноги. «Родить... родить скорее!» – она схватила докторшу за рукав. «Спокойно, спокойно. Вы уже родили – кого ж вам еще?» Софья знала – кого, но ее имя она не могла произнести, вода подымалась все выше, надо было скорее...

Ганька, уткнувшись головой, на корточках сидела возле печки, к ней подошел и заслонил ее Трофим Иваныч. «Не я – не я – не я!» – хотела сказать Софья – так уже было однажды. Она вспомнила эту ночь и сейчас же поняла, что ей нужно сделать, в голове стало совсем бело, ясно. Она вскочила, встала в кровати на колени и закричала Трофиму Иванычу: «Это – я, я! Она топила печку – я ударила ее топором...» «Она без памяти... она сама не знает...» – начал Трофим Иваныч. «Молчи!» – крикнула Софья, он замолчал, из нее хлестали огромные волны и затопляли его, всех, все мгновенно затихло, были одни глаза. «Я – убила, – тяжело, прочно сказала Софья. – Я ударила ее топором. Она жила у нас, она жила с ним, я убила ее, я хотела, чтобы у меня...» «Она без ф-фамяти... без ф-фамяти», – губы у Трофима Иваныча тряслись, он не мог выговорить.

Софье стало страшно, что ей не поверят, она собрала все, что в ней еще оставалось, изо всех сил вспомнила и сказала: «Нет, я знаю. Я потом бросила топор под печку, он сейчас лежит там...»

Все кругом было белое, было очень тихо, как зимой. Трофим Иваныч молчал. Софья поняла, что ей поверили. Она медленно, как птица, опустилась на кровать. Теперь было все хорошо, блаженно, она была закончена, она вылилась вся.

Первым опомнился Трофим Иваныч. Он кинулся к Софье, вцепился в спинку кровати, чтобы удержать, не отпустить. «Померла!» – закричал он. Женщины соскакивали с постели, подбегали, вытягивали головы. «Уходите, уходите! Ложитесь!» – махала на них сиделка, но они не уходили. Докторша подняла Софью руку, подержала ее, потом сказала весело: «Спит».

Вечером белое стало чуть зеленоватым, как спокойная вода, и такое же за окнами было небо. Возле Софьиной постели опять стояла грудастая докторша, рядом с ней Трофим Иваныч и еще какой-то молодой, бритый, со шрамом на щеке – от шрама казалось, что ему все время больно, а он все-таки улыбается.

Докторша вынула трубочку, послушала сердце. Софьино сердце билось ровно, спокойно, и так же она дышала. «Так-так-так... – докторша на секунду задумалась, – а ведь выживет, ей-богу, выживет!» Она сняла пенсне, глаза у нее стали как у детей, когда они смотрят на огонь.

«Ну, что же – начнем!» – сказал бритый молодой человек и вынул бумагу, ему было больно, но он улыбался шрамом. «Нет, уж пусть спит, нельзя, – сказала докторша. – Придется вам, товарищ дорогой, завтра приехать». – «Хорошо. Мне все равно». – «А уж ей и подавно все равно, теперь уж что хотите с ней делайте!» Пенсне у докторши блестело; молодой человек, улыбаясь сквозь боль, вышел.

Докторша все еще стояла и смотрела на женщину. Она спала, дышала ровно, тихо, блаженно, губы у нее были широко раскрыты.

1930 год